

Елена Николаевна Иваницкая

Один на один с государственной ЛОЖЬЮ

Становление общественно-политических
убеждений позднесоветских поколений
в условиях государственной идеологии



Елена Иваницкая

**Один на один с государственной
ложью. Становление
общественно-политических
убеждений позднесоветских
поколений в условиях
государственной идеологии**

«Издательские решения»

Иваницкая Е. Н.

Один на один с государственной ложью. Становление общественно-политических убеждений позднесоветских поколений в условиях государственной идеологии / Е. Н. Иваницкая — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835587-5

Каким образом у детей позднесоветских поколений появлялось понимание, в каком мире они живут? Реальный мир и пропагандистское «инобытие» — как они соотносились в сознании ребенка? Как родители внушали детям, что говорить и думать опасно, что «от нас ничего не зависит»? Эти установки полностью противоречили объявленным целям коммунистического воспитания, но именно директивы конформизма и страха внушались и воспринимались с подавляющей эффективностью. Результаты мы видим и сегодня.

ISBN 978-5-44-835587-5

© Иваницкая Е. Н.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
§1. Глас народа и приказ генсека	7
§2. Коммунистическое воспитание – что это такое и для чего оно нужно?	10
§3. Вопросы остаются нерешенными	14
§4. Удалось ли коммунистическое воспитание?	17
§5. Патологическая нормальность	20
Конец ознакомительного фрагмента.	26

**Один на один с государственной ложью
Становление общественно-политических
убеждений позднесоветских поколений
в условиях государственной идеологии
Елена Николаевна Иваницкая**

© Елена Николаевна Иваницкая, 2016

ISBN 978-5-4483-5587-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Становление общественно-политических убеждений в условиях советского (коммунистического) авторитарного режима – сфера малоисследованная и загадочная, хотя со времени краха государственной идеологии прошло уже четверть века.

Каким образом у детей и подростков позднесоветских поколений появлялось понимание, *в каком мире они живут*? Какие представления и убеждения возникали у них *на самом деле*, под корой фикций, внушаемых пропагандой и школой? Какие фикции и в какой мере маленькими детьми, школьниками и студентами принимались на веру, усваивались, а тем самым и включались в круг убеждений? Реальный мир и пропагандистское «*инобытие*» – каким образом они соотносились в сознании (понимании, душе) ребенка? Какие именно семейные практики существовали для того, чтобы пресекать вопросы и недоумения детей? Как именно родители внушали детям установки, что надо молчать и быть осторожным, что говорить и думать опасно, что «*от нас ничего не зависит*»? Эти установки полностью противоречили объявленным целям коммунистического воспитания (например, «активной жизненной позиции»), но именно директивы конформизма и страха внушались и воспринимались с подавляющей эффективностью. Результаты мы видим и сегодня.

§1. Глас народа и приказ генсека

Реальное устройство, реальное функционирование, реальное состояние советского государства и общества практически не изучались в Советском Союзе и представляли собой, с одной стороны, привычную данность, к которой население с трудом, но приспособлялось, а с другой – загадку, непонятную никому.

Есть стойкая легенда, будто генсек Андропов сказал, что *мы не знаем страну, в которой живем*. Вариант: *не знаем общества, в котором живем*. Вариант: *не знаем, где очутились*. Легенду повторяют устно и печатно, в том числе серьезные исследователи, которые в те годы были свидетелями событий. Они даже домысливают, с какими чувствами генсек легендарную фразу произнес.

«Как известно, незадолго до начала перестройки тогдашний руководитель КПСС и государства Юрий Андропов с тяжелым сердцем признал: *«Мы не знаем, где очутились. Мы не знаем общества, в котором живем»* (Б. А. Грушин. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. – М.: Прогресс-Традиция, 2001, с. 23).

«В начале 80-х Андропов растерянно признал, что „мы не знаем страны, в которой живем“» (Александр Янов. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга вторая: 1917—1990. – М.: Новый хронограф, 2015, с. 142)

«Выборы заставили вспомнить давнюю фразу Андропова с которой он начинал свой недолгий генсекретарский век: „Мы не знаем страну, в которой живем“» (Александр Агеев. Голод. – М.: Время, 2014, с. 548)

Мемуаристы из КГБ, служившие под началом Андропова, легенду опровергают: «Он никогда не говорил: „Мы не знаем общество, в котором живем“. Кто-то ошибочно „приклеил“ ему эту фразу» (Андропов в воспоминаниях и оценках соратников и сослуживцев. – М.: Арт-стиль – Полиграфия, 2012, с. 28).

«Соратники и сослуживцы» совершенно правы. Андропов этого не говорил и не мог сказать, потому что это была правда. Правду с партийных трибун не говорили никогда. Но генсек же не сам свои тексты сочинял, поэтому у знаменитой фразы появились авторы. В книге «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (М.: Центрполиграф, 2008) журналист Леонид Млечин отыскал двоих сразу, причем на одной странице одного, на другой – другого. Под пером Млечина легенда выглядит так. В журнале «Коммунист» (1983, №3) была опубликована статья «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР». Ее начали сочинять для Брежнева, но он умер, поэтому текст достался новому генсеку. А в последний момент случилось вот что: «Борис Григорьевич Владимиров, бывший помощник Сулова, „по наследству“ перешедший к Андропову, вписал ему в статью такую фразу: „Нам надо понять, в каком обществе мы живем“» (с. 474).

Ну, если и была такая фраза, то «поправили» ее до неузнаваемости. Те, у кого хватит терпения прочесть статью, убедятся, что ничего похожего там нет. Ни в строках, ни между строк. Сегодняшние «сослуживцы» Андропова твердят, что статья была «глотком свежего воздуха». Выразительное свидетельство про этот «глоток» оставил в дневнике Анатолий Черняев, в то время крупный аппаратчик Международного отдела ЦК: «Мне она понравилась откровенностью и ленинским стилем. Я ее читал три раза. А спроси, о чем она, – не отвечу, если конечно, иметь в виду нашу перспективу, план действий. Хотя уже хорошо, что нет хвастовства» (А. С. Черняев. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972—1991 годы. – М.: РОСПЭН, 2010, с. 529).

Статья – обычная партийная ахинея, смысл которой (если допустить, что он там есть) состоит в том, чтоб коммунизма слишком скоро не ждали. «Нам надо трезво представлять, где мы находимся. Забегать вперед – значит, выдвигать неосуществимые задачи; останавливаться на достигнутом – значит не использовать все то, чем мы располагаем. Видеть наше общество в реальной динамике, со всеми его возможностями и нуждами – вот что сейчас требуется. Партия предостерегла от возможных преувеличений в понимании степени приближения к высшей фазе коммунизма» (Ю. В. Андропов. Ленинизм – неисчерпаемый источник революционной энергии и творчества масс. Избранные статьи и речи. – М.: Политиздат, 1984, с. 432). В те годы никто коммунизма не ждал, никто его не «строил». Сочинители текста прекрасно это знали, но выражались осторожно, закручивая слова до безграмотной невнятицы: *от возможных преувеличений в понимании степени приближения.*

Ровно то же самое команда спичрайтеров сочинила и для речи генсека на Пленуме 15 июня 1983 года. А в последний момент (у Млечина сюжет повторяется) кем-то была вписана легендарная фраза – «судя по всему, одним из руководителей международного отдела ЦК Вадимом Валентиновичем Загладиным» (Последняя надежда режима, с. 485).

Ознакомление с речью тоже требует большого терпения. Никаких растерянных признаний с тяжелым сердцем в ней нет. Генсек бабачит и тычет. Ему досконально известно, в каком обществе мы живем, куда будем дальше двигаться и где, на каком этапе развития мы находимся. «Партия определила его как этап развитого социализма. Это общество, где уже полностью созданы экономическая база, социальная структура, политическая система, соответствующие социалистическим принципам, где социализм развивается, как принято говорить, на своей собственной коллективистской основе. И Программа партии в современных условиях должна быть прежде всего программой планомерного и всестороннего совершенствования развитого социализма, а значит, и дальнейшего продвижения к коммунизму» (Ленинизм..., с. 473). Все это повторяется без конца вместе с неизбежными требованиями усилить, повысить и дать отпор. Но в тексте очевиден фрагмент, который преобразился в легенду. Перейдя к *партийной критике отдельных недостатков*, генсек делал выговор *экономической науке*. За то, что она не раскрыла в должной мере экономические закономерности... – вот здесь-то и появляется этот словесный оборот: закономерности общества, «в котором мы живем и трудимся» (с. 481). Генсек тут же растолковал, как это надо понимать: «Наука, к сожалению, еще не указала практике нужные, отвечающие принципам и условиям развитого социализма решения ряда важных проблем. Что я имею в виду? Ну, прежде всего выбор наиболее надежных путей повышения эффективности производства, качества продукции, принципы научно обоснованного ценообразования» (с. 381).

С Андроповым многие связывали наивные надежды, которые у меня уже в то время вызывали недоумение перед доверчивостью умных, умудренных жизнью людей. Хотя я была очень молода, к Андропову относилась с отвращением. Но все, кто поверил в возможность перемен к лучшему, услышали то, чего генсек не говорил и говорить не собирался. Создав легенду, они подсказывали, что он должен был объявить – растерянно и с тяжелым сердцем. «*Мы не знаем, где очутились! Мы не знаем общества, в котором живем!*» Это был глас народа.

Приказ генсека был прямо обратным: усилить пропаганду: «Всю нашу идеологическую, воспитательную, пропагандистскую работу необходимо решительно поднять на уровень тех больших и сложных задач, которые решает партия. <...> Во всей воспитательной и пропагандистской работе следует постоянно учитывать особенность переживаемого человечеством исторического периода. А он отмечен небывалым за весь послевоенный период противоборством двух полярно противоположных мировоззрений, двух политических курсов – социализма и империализма. И будущее человечества в немалой степени зависит от исхода этой идеологической борьбы. Отсюда понятно, как важно уметь донести в доходчивой и убедительной форме правду о социалистическом обществе, о его преимуществах, о его мирной политике

<...> Партия добивается, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, а как активный строитель коммунизма» и т. д. (Ленинизм..., с. 471, 472, 480).

§2. Коммунистическое воспитание – что это такое и для чего оно нужно?

Необъятно доверчивый американский психолог Ури Бронфенбреннер немножко поизучал советских детей (под присмотром ответственных товарищей) и написал книжку, где восторженно одобрил советское воспитание, – «Two worlds of childhood. USA and URRS» (New-York, 1970). В 1976 году она была переведена у нас с послесловиями профессоров-психологов – Игоря Кона и Лидии Божович: Ури Бронфенбреннер. Два мира детства. Дети в США и СССР. – М.: Прогресс, 1976.

Бронфенбреннер заверял читателей в том, что советские методы воспитания могущественны, эффективны и детально разработаны. Он почтительно признавал, что у воспитания есть четкая и определенная цель – «формирование коммунистической морали» (с. 28). Он горячо восхищался примерным поведением, хорошими манерами, прилежанием, дисциплиной, альтруизмом, коллективизмом советских детей. «В беседах с нами они выражали сильное желание учиться, готовность служить народу, – разливался психолог. – Их отношения с родителями, учителями и воспитателями носят характер почтительной и нежной дружбы. Дисциплина в коллективе воспринимается безоговорочно, какой бы суровой сточки зрения западных стандартов она ни выглядела. <...> случаи агрессивности, нарушения правил и антиобщественного поведения – явление крайне редкое» (с. 52). А всех лучше, представьте себе, были ученики школ-интернатов. Домашние дети нарушали правила «крайне редко», а интернатские – «еще реже» (с. 53).

Никаких недостатков в советском воспитании психолог не обнаружил. Все было замечательно. Этот злостный самообман произошел, по моему мнению, не только от доверчивости, но и от эгоизма. Бронфенбреннер заботился об американских детях, а «блестящие успехи» советской системы воспитания позволяли развернуть критику американской и указать на изъяны. Что он и сделал. Его слепой эгоизм – научная недобросовестность. Впрочем, кое-что и он разглядел.

От него не укрылась особая ситуация советской семьи, но он не понял ее и описал вполне позитивно: «Семья в Советском Союзе не является ни единственным, ни даже главным уполномоченным общества по воспитанию детей. Прямая ответственность возлагается здесь на другой социальный институт – детский коллектив» (с. 11). Нелепость о прямой ответственности детского коллектива за воспитание комментировать не буду. Но то, что у советской семьи была отнята значительная часть воспитательных полномочий, – это замечено верно, хотя выражено очень наивно.

Вероятно, Бронфенбреннер совсем не понимал, что такое государственная идеология и страх перед репрессивной машиной государства. Советские родители не имели права передавать детям свое реальное понимание *общества, в котором они живут и трудятся*. Строго говоря, они вообще не имели права на собственное миропонимание. Такое право безраздельно принадлежало партии, государству, идеологии. Каждый ребенок в этом смысле был полной собственностью государства. Родители *сами* вынуждены были следить и принимать меры, чтобы дети оставались в идейной государственной собственности. Простодушное замечание ребенка могло оказаться нечаянной антисоветчиной – и подвести всю семью. Педагоги были обязаны следить за болтовней учеников, вести учет неосторожных высказываний и проверять идейную атмосферу в семье. Парадокс состоял в том, что родители-коммунисты *тоже* не могли передавать детям свои непритворные коммунистические убеждения – из-за двух непреодолимых препятствий. Первым был *дубовый и кондовый язык*. Другого языка у коммунистической идеологии не существовало, а искать иной, подходящий для живого разговора с ребенком, было опасно. Отклонение от языка стало бы и отклонением от идеологии. Но еще

важней было второе препятствие. Искренний разговор на политическую тему был невозможен в принципе, потому что пропаганда резко расходилась с объективной реальностью. *Вижу одно, слышу другое*. Если бы родители допустили, чтобы ребенок, а тем более подросток обсуждал вместе с ними внутреннюю и внешнюю политику партии, бывших и нынешних «вождей», прошлое и настоящее страны и семьи, если бы разрешили ему расспрашивать и задумываться об этом, то критика *сакральных* персон, действий и эмблем становилась неизбежной. Поэтому в советских семьях все политическое было табуировано. Родители предписывали детям молчать и не думать «об этом», а высказываться только по требованию уполномоченного лица (воспитателя, учителя, пионервожатого) и только теми словами, которые были заучены прежде. Обычно такое предписание было негласным, оно вытекало из всех условий взаимодействия родителей с детьми, но иногда старшие прямо этого требовали. В своих откровенных воспоминаниях педагог Леонид Лопатин рассказывает, что в пятидесятые послесталинские годы отец с матерью «постоянно напоминали детям (нас было шестеро) „говорить, как в школе велят, иначе нашего папку посадят“» (Леонид Лопатин. Советское образование и воспитание, политика и идеология в 55-летних наблюдениях школьника, студента, учителя, профессора. – Кемерово: КемГУКИ, 2010, с. 40).

Наивный Бронфенбреннер, впервые приехавший в Советский Союз как раз в конце пятидесятых, этого не знал. Советские психологи Божович и Кон несомненно знали. Но в своих послесловиях они изобразили советское воспитание абсолютно безупречным. Целиком подерживая восторги обманутого психолога, они спорили с ним всякий раз, когда его посещало сомнение. Так, в связи с воспитанием в коллективе Бронфенбреннер задумался о конформизме. Но Игорь Кон строго ему указал, что наше отношение к конформизму «однозначно отрицательное» (с. 159), ибо конформизм – это приспособленчество, а мы воспитываем «критически мыслящих и способных занимать самостоятельную позицию личностей» (с. 159). Лидия Божович пресекла попытку усомниться в полномочиях советской семьи, осудив коллегу за «путаницу». Никто не снимает с советской семьи ответственность и заботу, настаивала Лидия Ильинична, но нельзя же запираť детей в узкий семейный мирок. Скоро ребенок «выходит в широкий мир общественных отношений», поэтому только воспитание в коллективе и через коллектив позволяет сформировать у него «лучшие качества человека и гражданина» (с. 149).

Конечно, встает вопрос, *кого* они обманывали. Прежде всего зарубежных педагогов и психологов. Это понятно. Но кого еще? Партийное руководство? Или самих себя тоже?

Сегодня Сергей Кара-Мурза с пафосом ссылается на Бронфенбреннера, уверяя, что советская школа такой и была, как ему померещилось. «Сильное желание учиться, готовность служить народу», «безоговорочная дисциплина», «развитие способности к сотрудничеству», «подобие семьи», «нежная дружба» и т. д. (Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. – М.: Эксмо. Алгоритм, 2011, с. 649, 650, 662). Идеолог наших дней аккуратно забыл только одно утверждение обманутого и обманувшегося американца: будто самыми примерными и правильными детьми были воспитанники школ-интернатов.

Проблема заключается еще и в том, что мы не знаем, каких результатов хотела добиться власть. Вряд ли кто-то поверит, что коммунистический режим на самом деле *строил коммунизм* и хотел воспитать *строителей коммунизма*. Были, конечно, среди учителей и воспитателей наивные энтузиасты и твердолобые фанатики, которым казалось, что они хотят именно этого. Но какую реальность подразумевали сами идеологи в словах «строитель коммунизма», «политическая сознательность», «идейная убежденность»? Бесконечно повторение однообразных формул скрывает разноречивую, неопределенную и невнятную.

Бронфенбреннер видел у советской системы четкую цель – «воспитание коммунистической морали». Он не сам это сообразил или придумал, а повторил за главным авторитетом – Лениным, который на третьем съезде РКСМ прямо этого требовал: «Надо, чтобы все дело

воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали» (В. И. Ленин. ПСС, 1963. т. 41, с. 309). Но редакционное примечание на странице 28 опровергает Бронфенбреннера, а значит, и Ленина. Оказывается, воспитание коммунистической морали – одна из *задач*, а *цель* у нас другая – «всестороннее, целостное развитие личности». Надо ли понимать так, что всестороннее развитие включает в себя коммунистическую мораль? Это никому неизвестно – и никогда не было известно.

В начале шестидесятых годов власть проводила грандиозную идеологическую кампанию – «Учиться жить и работать по-коммунистически». Один из первых в Советском Союзе опросов общественного мнения был посвящен реалиям и перспективам «разведки коммунистического будущего», но результаты оказались печальными. Респонденты, в том числе передовики и ударники, не знали, что это такое, и даже плохо понимали девиз движения: то ли «учиться жить и работать по-коммунистически», то ли «по-коммунистически работать, учиться и жить». Руководитель опроса Борис Грушин писал (уже в нашем веке), что «все без исключения типы опрошенных идут, как говорится, кто в лес кто по дрова, ярко демонстрируя отсутствие у них единых и четких представлений и о *критериях* „коммунистичности“ вообще, и о существовании движения за коммунистический труд в частности» (Б. А. Грушин. Четыре жизни России ... Жизнь 1-я, с. 255). Грушин признается, что его обескураживали простодушные представления о светлом коммунистическом будущем, сводившиеся к элементарным нормам человеческого общежития: при коммунизме не будет пьянства, хулиганства, мордобоя, воровства, сквернословия...

К 50-летию комсомола было принято постановление ЦК КПСС о задачах коммунистического воспитания. В нем написано все то же самое, что во всех подобных постановлениях, решениях, указаниях и выступлениях. Сначала отмечены высокие политические и моральные качества советских юношей и девушек. Сразу вслед – грозное предупреждение о «резко обострившейся» идеологической борьбе, в которой империализм делает ставку на идейное разоружение молодежи. *Резкое* (или *небывалое*) обострение борьбы – это было всегдашнее и неизменное положение дел. «В этих условиях», указывает постановление, «задача состоит прежде всего в том, чтобы...». Слово *задача* – в единственном числе, но задач набирается на несколько страниц убористым шрифтом. «Готовить стойких и самоотверженных борцов за победу коммунизма», «жить и бороться по-ленински», «формировать у юношей и девушек коммунистическое отношение к труду», «воспитывать подрастающее поколение в духе коммунистической морали», «повышать революционную бдительность комсомольцев» и т. д. (Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник документов. – М.: Издательство Политической литературы, 1972, с. 193, 194). Среди задач мелькает и «всестороннее развитие личности» (с. 199). То есть это все-таки задача, а не цель, причем не главная из задач, а последняя. Понятия цели в постановлении нет. Но требуемый результат назван достаточно внятно и откровенно: «Вся воспитательная работа должна способствовать успешному выполнению решений XXIII съезда КПСС» (с. 195). То есть именно ради выполнения решений съезда надо формировать самоотверженных борцов за коммунизм, повышать их революционную бдительность и т. д.

По моему убеждению, реальной целью коммунистического воспитания было «выполнение решений» власти, то есть покорность, молчание, страх, безропотный труд на государство.

За пять лет до этого постановления, еще в хрущевские времена, тогдашний секретарь по идеологии Ильичев в установочном докладе на пленуме (18 июня 1963 года) явно провозглашал именно такую цель воспитания, называя ее «весами»: «Весы, на которых взвешиваются плоды воспитательной работы, – это те же самые весы, на которых взвешиваются результаты труда советских людей» (Л. Ф. Ильичев. Очередные задачи идеологической работы партии. – М.: Госполитиздат, 1963, с. 30).

Через пятнадцать лет после постановления и через двадцать лет после Ильичева генсек Андропов говорил то же самое, требуя от идеологических кадров усилить коммунистическое

воспитание: «А критерий оценки их деятельности должен быть один: уровень политического сознания и трудовой активности масс» (Ю. В. Андропов. Ленинизм неисчерпаемый источник..., с. 472).

§3. Вопросы остаются нерешенными

Идеологическая обработка всего населения, а детей и молодежи в особенности, не ослаблялась никогда, но требования усилить ее раздавались постоянно. Почему?

Понимала ли власть неудачу своих пропагандистских внушений? Или не понимала? Верила ли сама собственной пропаганде? Если да, то насколько? Если не верила, то ясно ли видела границу между реальным положением дел и его «пропагандистским обеспечением»? Верила ли власть, что ее пропаганде верит население?

Как в действительности люди – и взрослые, и дети – воспринимали пропагандистскую картину мира? Если верили, то чему и насколько? Если не верили, то чему и насколько? Если пытались игнорировать, то в какой мере им это удавалось?

Как пропагандистские внушения взаимодействовали с реальностью? Какие последствия при этом возникали?

При коммунистическом режиме все эти вопросы были закрыты для обсуждения. По строгому счету – и для обдумывания: советскому человеку не полагалось спрашивать и допытываться. В наши дни все эти вопросы стали предметом полемики – в широком спектре от научных дебатов до эмоциональных споров со взаимными обвинениями, но и сегодня остаются не решенными и загадочными. Причем настолько, что один и тот же исследователь в одном и том же исследовании высказывает два противоположных суждения.

«Советский пропагандистский аппарат ловок и гибок, – писал политолог-советолог Илья Земцов, раскрывая понятие „пропаганда“ в книге „Советский язык – энциклопедия жизни“. – Пропагандистские стереотипы не проходили бесследно, они исподволь, накапливаясь, оседали в сознании человека, и он, не осознавая и часто не желая, сживается с ними и, не веря, следует им» («Советский язык – энциклопедия жизни» – М.: Вече, 2009, с. 389). Но в разделе «агитация» он утверждал нечто совсем иное: «Через всю жизнь советского человека – от рождения до глубокой старости – проходят различные агитационные кампании. Убогие, шаблонные и схоластические, они оставляют в его сознании глубокий след, но полностью поработить его не могут» (с. 19).

Александр Бикбов в ряде работ доказывает, что советская идеология активно эволюционировала, что официальная риторика, гибкая и подвижная, становилась индикатором сдвигов в основаниях режима – «не всегда объявленных символических революциях» (Александр Бикбов. Тематизация личности как индикатор скрытой буржуазности в обществе зрелого социализма. – В кн.: Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. – М.: Модест Колеров. 2007, с. 404). Такой символической революцией, полагает исследователь, было появление понятий «личность» и «потребитель». Риторика все благосклоннее относилась к сфере «личных потребностей», поэтому «зрелый социализм» сближался с буржуазным обществом, а «новая личность стремительно и наперекор политическим императивам приобретала (мелко) буржуазные черты» (с. 415). Исследователь не пояснил, к сожалению, что он понимает под словами «буржуазный» и «мелкобуржуазный», поэтому мне трудно его понять. Испытав на себе советскую идеологическую формовку, я вынесла из нее убеждение, что эти слова не значат ничего – кроме угрозы со стороны того, кто их произносит.

Алексей Юрчак, в противоположность Александру Бикбову, утверждает в монографии «Это было навсегда, пока не кончилось», что советская идеология послесталинского времени все больше окостеневала, и отражением этих процессов становилась стандартизация риторики. «Каждое новое высказывание стало строиться как имитация другого высказывания, уже ранее кем-то написанного или произнесенного. <...> Идеологические тексты становились все более предсказуемыми, похожими друг на друга на уровне формы <...> Язык идеологии превратился в тот „дубовый“ и „кондовый“ язык 1970-х, который многим хорошо знаком по беско-

нечным речам Брежнева, передовицам газет и выступлениям местных партийных руководителей» (Алексей Юрчак. Это было навсегда, пока не кончилось. – М.: НЛЮ, 2014, с. 555). *Дубовый язык*, утверждает исследователь, все больше утрачивал традиционную роль идеологии – описывать действительность в духе определенных идей и ценностей. Он лишился собственного смысла, но стал для так называемой «нормальной» советской молодежи «сферой творческого создания новых смыслов, неожиданных для государства» (с. 561). То есть необъявленные символические революции совершались силами воспитуемых, а не воспитателей. Что за смыслы и революции? Респонденты профессора Юрчака откровенно и даже с удовольствием рассказывали об этом. «Наталья вспоминает: „Когда нам хотелось сходить на выставку или в кафе во время работы, мы говорили начальнику отдела, что нас вызывают в райком“. Подобные приемы присвоения времени, институциональной власти и дискурсов государства, посредством цитирования его авторитетных форм, происходили на всех ступенях партийной иерархии, включая партийные комитеты» (с. 239). Что ж, заурядные хитрости, хотя доступные не всем, а только членам *комитета* – партийного или комсомольского. Мне кажется странным описывать такие действия высоким слогом – как *сферу творческого создания новых смыслов*. Но в этом особенность книги Юрчака. Лукавое приспособительное поведение советской молодежи он описывает либо высоким слогом, либо специфическими терминами, в которые вкладывает высокий смысл.

То самое поведение, которое можно назвать хитростью, трусостью, цинизмом, конформизмом, соглашательством, лицемерием, двоемыслием, безответственностью, беспринципностью, антипатриотизмом, антигражданственностью, «до лампочки», «наплевать» (и другими нехорошими словами), предстает в монографии как «принцип вменяемости» и «принцип детерриториализации». (Последнее слово совсем непроизносимо и нечитаемо)

Принцип вменяемости (то есть «ни за – ни против» государства, а якобы где-то «вне» его) истолкован как отношение *политическое*, которое вело «к подрыву смысловой ткани системы», ибо меняло «смысл ее реалий, институтов и членства в них» (с. 565).

С одной стороны, с этим не поспоришь. Конечно, все эти члены комитетов, которые прогуливали работу и лекции, прикрываясь райкомом... да, они систему подрывали. С другой стороны, уж очень ловко они устроились. В советские годы они преспокойно считали себя «нормальными» людьми, а теперь и вовсе оказались борцами с режимом. Они, видите ли, изнутри опустошали идеологию («авторитетный дискурс», в терминах Юрчака). Мне кажется, что для проблемы самопонимания советского человека это решение ложное. Недаром в монографии вообще не упоминается страх. Последние советские поколения тоже его испытывали, пусть и не в такой мере, как поколения родителей, бабушек и дедушек. Страх плохо сочетается с пониманием самого себя как «нормального» человека. По-моему, совсем не сочетается. Позиция же *вменяемости*, «ни за – ни против» неизбежно сталкивается с такими действиями государства, когда молчать, а тем более тянуть руку в «единодушном одобрении» означает поддерживать преступление. Такие болезненные точки фактически обойдены в книге. В ней всего дважды упоминается война в Афганистане вместе с позицией двух «ненормальных», которые вслух осудили вторжение и пострадали за это. Вовсе не упоминается расстрел южнокорейского пассажирского самолета 1 сентября 1983 года. В те годы я уже была не ребенком, все понимала, испытывала к режиму негативные чувства, но молчала. У меня от этого погибли остатки самоуважения. «Нормальные» тоже молчали. Как они сохранили при этом сознание собственной «нормальности»? Как сохранили самоуважение? По-моему, это вопросы немаловажные.

«Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы». Так завершает Пушкин статью «Вольтер». У советского человека независимости не было, а страх был. В таких условиях самоуважение становилось проблематичным (по-моему, невозможным). Пропаганда, безудержно хвастая, обязывала людей гордиться тем, что

партия их «ведет» от победы к победе. Прочитав за последние месяцы тонны советских газет, журналов, пропагандистских пособий и методических разработок, чего только ни встречала. Вот, например, стихи под названием «Советский человек»: «За ним уверенность и знания. Его величество народ, С бессмертным Лениным на знамени Ведомый партией вперед». Это стихи Алексея Бодренкова, приведенные в книге Николая Ветрова «Я – гражданин Советского Союза» (М.: Советская Россия, 1978, с. 41—42).

С самого беззащитного возраста дети поступали именно в такую идеологическую обработку. *Коммунистическое воспитание подрастающего поколения* поглотило огромные ресурсы и необъятное время. Какой след оно оставило? В чем и насколько поработило ребенка? Условия для идеологической формовки детей были для режима наилучшими: родители наложили печать на уста и никак, ни словом не противодействовали детсадовскому, школьному, октябратскому, пионерскому, комсомольскому агитпропу. Многие даже поддерживали – по осторожности или по убеждению. Только в двадцатые годы, как показывает Евгений Балашов в исследовании «Школа в российском обществе 1917—1927 гг.» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2003), дети существовали в «биполярном» нравственном мире: «Школьники постоянно чувствовали различие между тем, что внушали в школе и дома. Мальчик писал в сочинении: „В школе слышим одно, а дома другое. Не знаю, как лучше. Пусть бы сами учителя поговорили с родителями. Было бы легче“» (с. 156). С тридцатых годов и до конца советской власти ничего «другого» дети в семье не слышали. Такое положение было общим правилом, почти не знавшим исключений.

§4. Удалось ли коммунистическое воспитание?

Удалось режиму коммунистическое воспитание или не удалось – вопрос дискуссионный. Точнее сказать так: существуют изолированные разноречивые мнения, дискуссия не ведется, критерии удачи или неудачи не обсуждаются.

Катриона Келли в книге «Товарищ Павлик. Взлет и падение советского мальчика-героя» (М.: НЛЮ, 2009) полагает, что воспитание не удалось. «Советская обработка детей (если не считать стремления привить общечеловеческие ценности – честность, трудолюбие и прочие, характерные для любого нравственного общества всех времен) не сумела выработать в них той преданности официальной идеологии, на которую рассчитывали политические лидеры и пропагандисты» (с. 223). Но в другой своей книге, «Children's world», исследовательница разделяет точку зрения Евгения Замятина о полной победе официальной индоктринации и полном поражении семьи в борьбе за ребенка. «Evgeny Zamiatin, in essays written non long after his emigration to France, evocated the typical Soviet child as „an eight-years-old grown man“, turned into automaton by political indoctrination imposed in him in schools. For Zamiatin, the fact, that „the influens of the family losed the battle with the influens of the school“ was both obvious and tragic» (Catriona Kelly. Children's world. Growing up in Russia 1890—1991. – Yale university Press, 2007, с. 80). Замятин характеризовал исторический период тридцатых годов, но возникшее при сталинизме подчинение семьи идейной обработке детей сохранялось до конца советской власти.

Борис Фирсов и его ученики и последователи придерживаются противоположного мнения: коммунистическое воспитание не удалось именно потому, что семья победила в борьбе за душу ребенка. В сборнике «Разномыслие в СССР» Михаил Рожанский излагает это убеждение так: «Особое мироощущение тех, кто был детьми в 50—80-х, Борис Фирсов объясняет „умной силой“ их родителей, взявшей верх над обскурантизмом доктринального воспитания» (Разномыслие в СССР: 1945—2008. – СПб.: Издательство Европейского университета в Петербурге, 2010, с. 202).

Но что такое эта *умная сила*, как она боролась с идеологическими внушениями агитпропа? Оказывается – никак. Умной силой, здравым смыслом, щадящим гуманизмом Борис Фирсов называет скрытность и молчание родителей, их невмешательство в дело государственной идейной формовки детей.

«Взрослые ограждали, вернее сказать, спасали нас от преждевременного разочарования жизнью, внутри которой мы нераздельно существовали. Они не открывали нам глаза на несправедливость реального жизнеустройства страны победившего социализма, но и воздерживались от того, чтобы оптимистически представлять развитие страны. <...> Этот щадящий гуманизм должен быть по достоинству оценен. Вследствие этого моя мама не обсуждала со мной политические проблемы. На судьбе репрессированного отца лежало ее жесткое табу» (Борис Фирсов. Разномыслие в СССР: 1940—1960-е годы. История, теория, практика. – СПб.: Европейский дом, 2008, с. 222). И еще раз: «Родители не стали омрачать молодые годы своих детей. „Былое“ не должно было угнетать „думы“ молодых. Наверняка не расчет, а родительская любовь подсказала им, что без этого гнета детям будет лучше до поры, когда они, сами столкнувшись с системой, уже смогут принимать собственные решения» (с. 201).

С одной стороны, такое мнение кажется мне странным. Я бы сказала – попыткой выдать нужду за добродетель. Борис Фирсов сам же пишет: «Лжецами мы не рождались, но становились ими под влиянием господствующих правил советской жизни» (с. 202). Можно добавить: при молчании и невмешательстве семьи, оставлявшей ребенка один на один с государственной ложью.

С другой стороны, я его очень понимаю, потому что речь идет о наших любимых и любящих родителях, проживших трагическую жизнь под непреодолимым гнетом государственного насилия, страха и лжи. Дети и внуки раскулаченных, расстрелянных, отсидевших, сосланных, или отсидевшие сами, они всё знали и понимали, но молчали. Не сила и гуманизм, а страх за нас и за себя замкнул им уста. «Был страх, это правда», – призналась моя мама, Надежда Васильевна Текучева, родная внучка раскулаченного, сосланного и расстрелянного «врага народа». Но призналась она уже в новом веке.

Роберт Шакиров в книге «Школа и общество» (Казань: б.и., 1997) полагает, что «школа потерпела полное поражение на фронте воспитательной работы, на фронте воспитания молодежи в духе коммунистических идеалов» (с. 92). Вопрос о причинах неудачи он считает «неимоверно сложным» (с. 92) и высказывает четыре предположения. Первое вызывает лишь нервный смех: виноват президент Рейган и его «сверхсекретная операция по развалу СССР» (с. 92). Но затем автор переходит к делу, объясняя неудачу теми внутренними особенностями, которыми отличалось советское воспитание. Во-первых, начетническим навязыванием «единственно правильного взгляда», подменявшего убежденность «воспроизведением определенных цитат» (с. 93). Во-вторых, идеологической перегрузкой: «доза» политического воздействия «долго выходила за пределы разумного» (с. 93). В-третьих (а по-моему – в-главных, с этого следовало начинать), расхождением идеологии с реальностью: «В нашей воспитательной работе (как и во всей партийной агитации и пропаганде) мы, к сожалению, исходили не из действительности, а из желания выдавать за нее желаемое» (с. 94).

Если допустить, будто целью агитпропа было внушение коммунистических идеалов (что бы это ни значило), то воспитательное поражение режима очевидно и причины его не кажутся мне неимоверно сложными. По-моему, они тоже очевидны. Воспитывает жизнь, а не цитаты. «Учительская газеты» совершенно откровенно требовала от учителей постоянной пропаганды: «Учитель-пропагандист. Это качество – принадлежность самой учительской профессии. Каждый урок, каждое классное и внеклассное мероприятие – не что иное, как пропаганда идей Коммунистической партии, нашего советского образа жизни, утверждение принципов и норм коммунистической морали» (Учительская газета, 12 января 1980 года, №6, с. 2).

Реальный советский образ жизни, реальная «коммунистическая мораль» – вот они и воспитывали. Ежедневно и эффективно. Учителю-пропагандисту тягаться с реальностью бесполезно. «Руину не прикроешь страницей „Правды“» – писал Иосиф Бродский в эссе «Less than one», но он настаивал, что воспитание детей и взрослых режиму удалось – если не всецело, то в огромной степени. Целью воспитания он считал «капитуляцию перед государством» и «укорочение личности».

«Повиновение становилось второй натурой и первой, – пишет Бродский. – Человек с головой, конечно, пытался перехитрить систему – изобретая разные обходные маневры, вступая в сомнительные сделки с начальством, громоздя ложь на ложь, дергая ниточки семейных связей. На это уходит вся жизнь целиком. Но ты поймешь, что сплетенная тобой паутина – паутина лжи, и, несмотря на любые успехи и чувство юмора, будешь презирать себя. Это – окончательное тожество системы: перехитришь ты ее или же окончательно примкнешь к ней, совесть твоя одинаково не чиста». И еще раз: «Я не видел человека, чья психика не была бы изуродована смирительной рубашкой послушания».

К этой точке зрения я полностью присоединяюсь и считаю, что ярким образцом укорочения личности и капитуляции перед государством была «нормальная» жизнь, которую так позитивно изобразил Алексей Юрчак и о которой так спокойно рассказывали его собеседники.

Что такое коммунистическая мораль, никто не знал и знать не хотел, а что такое «высунуться» и получить по голове, знали все. В том числе на примере Иосифа Бродского.

По сути, коммунистическая мораль и смирительная рубашка послушания – это было одно и то же, а конституционные права советского человека совпадали с капитуляцией перед

государством. Пропагандистские пособия говорили об этом до странности откровенно: можно предположить, что авторы и впрямь не видели разницы, поэтому и не находили нужным как-то камуфлировать такое положение дел.

В той самой книге Николая Ветрова «Я – гражданин Советского Союза», где партия ведет «его величество народ», процитированы слова Андропова, тогда еще не генсека, а председателя КГБ: «На Западе можно слышать рассуждения, – говорил член Политбюро ЦК КПСС Ю. В. Андропов в докладе, посвященном 100-летию со дня рождения Ф. Э. Дзержинского, – о том, что изложенные в Конституции права и свободы советских граждан сами по себе достаточно широки, но они, дескать, сводятся на нет тем, что их применение и пользование ими поставлено и зависимость от интересов государства и общества» (с. 55). Разумеется, все понимали, что эти «рассуждения» полностью соответствуют действительности, а манифестации под лозунгом «Соблюдайте Конституцию» не что иное, как ярая антисоветчина, ибо в реальности Конституция не закон, а декоративная бумажка. И Николай Ветров с пафосом это подтверждает: «Но как же иначе? Советские люди и мыслить не могут по-другому. Им дороже всего на свете интересы государства и общества, и они не видят в этом никакого противоречия. Только таким образом в нашей стране личность обретает свободу» (с. 55). Точно по Оруэллу – «Свобода – это рабство», а интересы государства и общества подразумеваются одинаковыми.

§5. Патологическая нормальность

Государственной идеологией, которая называлась марксизмом-ленинизмом, детей обрабатывали неотступно и неустанно, лошадиными дозами. Социализм, коммунизм, Маркс, Ленин, дорогой товарищ Леонид Ильич, наши великие трудовые свершения, мудрая, неизменно миролюбивая политика родной коммунистической партии, американские поджигатели войны – все это в жизни детей присутствовало ежедневно и постоянно. Парадокс – даже абсурд, а не парадокс – состоит в том, что всего этого словно бы вовсе не было. В реальном общении с ребенком родители строго избегали разговоров на такие темы. Между собой дети тоже их не обсуждали. Родители старались, чтобы дети не слышали, как обо всем этом судят взрослые. Политика «жила» только в особых местах, в особое время и только по команде и принуждению. Вне специального хронотопа, по собственной воле ребенку было запрещено затрагивать предметы, которые относились к ведению коммунистического воспитания и пропаганды.

Выразительное доказательство мы найдем в современных учебных пособиях по исследованию детства. В коллективной монографии «Феномен детства в воспоминаниях» (М.: Издательство УРАО, 2001) разработан список вопросов для биографирования советского детства. Список очень подробный и тщательный, включает в себя сотни вопросов, требующих подчас немалой интимной откровенности от респондента. Семья, школа, материальные условия, дружба, досуг, искусство, природа, спорт, первые влюбленности, пробуждение сексуальности, сны и фантазии, семейные ссоры и наказания, даже восприятие запахов... – в вопросах есть все, кроме «политики». Исследуя советское детство, составители списка четко воспроизвели советскую установку на табуирование политического. Проведенное по этим вопросам интервью опубликовано с комментариями специалистов (историка, психолога, антрополога) в 12-м выпуске Трудов кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии: Биографическое интервью – М.: Издательство УРАО, 2001. Студентка кафедры расспрашивала женщину по имени Татьяна, чье школьное детство пришлось на семидесятые годы. Студентка не задавала вопросов о политике или марксизме-ленинизме, а Татьяна, поднимавшая многие темы по собственной инициативе, не сказала ни слова о том, что относилось к сфере «коммунистического воспитания». Удивительно, что такое умалчивание не привлекло внимание ни историка, ни психолога, ни антрополога. По моему мнению, Татьяну, как и всех нас, в детстве жестко приучили считать все идеологические и политические темы закрытыми для обсуждения и не упоминаемыми по собственной воле.

В новейшем сборнике воспоминаний «Школа жизни» (М.: АСТ: редакция Елены Шубиной, 2015, составитель Дмитрий Быков) школьное детство 60—80-годов реконструируется силами семидесяти мемуаристов, победивших в открытом конкурсе. Все тексты сборника откровенные, честные (он так и носит подзаголовок «Честная книга»), но «коммунистическое воспитание» вспоминают только те несколько человек, кто нажил опасные проблемы за отклонение от идейного status quo. Причем отклонение могло быть в любую сторону: протестовала ли девочка против нарушения комсомольского устава, слушал ли мальчик зарубежные «голоса» – и то, и другое вызывало репрессии. Мемуаристы ни разу не вспоминают события в Чехословакии и войну в Афганистане, один раз – «угрозу ядерной войны», один раз – «политинформацию». Все эти события и угрозы присутствовали в жизни советского школьника постоянно, но говорить о них по собственной воле не полагалось. Не вспоминают «бывшие дети» и дорогого товарища Леонида Ильича, хотя у большинства вся их школьная жизнь прошла под его бровями.

В семидесятые годы существовала «клятва советской молодежи», которую московские школьники произносили на Красной площади, а немосковские – на классных часах и ленинских уроках. «От имени юношей и девушек Страны Советов мы обращаемся к родной партии,

к непобедимой Родине со словами сыновней верности и безграничной любви. <...> Вся советская молодежь горячо одобряет и безраздельно поддерживает внутреннюю и внешнюю политику родной Коммунистической партии, деятельность ленинского ЦК КПСС, его Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым. <...> Высоко нести знамя революционного и боевого мужества – Клянемся!» (Л. Спирин, П. Конаныхин. Идеино-политическое воспитание школьников. – М.: Просвещение, 1982, с. 69).

Что значила для школьников эта клятва? Пионерскую клятву еще помнят, а эту забыли начисто. Она не значила ничего кроме обязанности артикулировать ее. Каждый человек с советским детством это знает, поэтому ни о чем подобном не вспоминает и не упоминает. Но что значило для школьников (собственно, для нас, для меня) произнесение слов, которые ничего не значили в реальной жизни? Этим мертвоговорением воспитывалось – что?

Классическая точка зрения, осененная именами Вацлава Гавела и Александра Солженицына, состоит в том, что тем самым воспитывалась «жизнь во лжи». Она же, по определению Бродского, – «капитуляция перед государством». Новейшая и завоевавшая популярность точка зрения Алексей Юрчак требует отказа *от бинарных оппозиций (истинное лицо против маски или реальное поведение против притворного)* и состоит в том, что советская молодежь вырабатывала у себя *политическую позицию внеаходимости*. Бинарные оппозиции, утверждает Юрчак, неадекватны советской реальности. Например, голосование «за» или «молодежная клятва» в бинарных оппозициях интерпретируется буквально: либо как истинное отношение, либо как притворное. Но для «нормальной» советской молодежи, избегавшей и диссидентства и комсомольского активизма, это не было ни тем, ни другим, а было лишь исполнением ритуала, конвенции, того, что «положено». Произносимые слова утрачивали репрезентативную функцию и приобретали перформативную. «Перформативный сдвиг официального дискурса» – такими терминами описывает Юрчак эту ситуацию и преподносит ее не просто как «нормальную», но как заключающую в себе творческий и протестный потенциал. Советская молодежь научилась по-своему использовать идеологию: воспроизводить идеологические формы, «сдвигая» их содержание, «открывая новые, неподконтрольные пространства свободы» (с. 83). Именно перформативный сдвиг, полагает исследователь, «сделал этих людей единым поколением» (с. 83).

Кевин Платт и Бенджамин Натанс, рецензируя книгу Юрчака, соглашаются с этим утверждением и полагают, что «последнее советское поколение не только могло избежать, но и, как правило, избегало силового поля официального дискурса» (Кевин Платт и Бенджамин Натанс. Социалистическая по форме, неопределенная по содержанию: позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака «Все было навечно, пока не кончилось». – НЛО, 2019, №101, <https://goo.gl/ndU2qq>).

Ирина Каспэ, высоко оценивая концепцию Юрчака в целом, полемизирует с ней в одной частности: «Настойчивость, с которой респонденты Юрчака подчеркивают, что в позднесоветские десятилетия „жили нормально“, побуждает заподозрить здесь симптом социальной болезни —некий сбой в работе механизмов нормативности. Сам факт бытования формулы „нормальная жизнь“ косвенно свидетельствует об акцентированном и при этом не находящем разрешения (социальные психологи, возможно, сказали бы „невротическом“) изоляционистском внимании к нормативным стандартам» (Ирина Каспэ. Границы советской жизни: представления о «частном» в изоляционистском обществе. – НЛО, 2010, №101. <https://goo.gl/eTlez1>).

Помня собственный советский опыт и разделяя классический «бинарный» подход, я с этим не согласна. «Перформативный сдвиг» – то же самое, что «серый равнодушный океан голов и лес поднятых рук на митингах», о чем пишет в своем эссе Бродский. Голосование по команде и говорение по команде – это несомненное подчинение *силовому полю официального дискурса*. Если клятва – это не клятва, а всего лишь оболочка мертвых слов, если голосо-

вание – это не голосование, а механический жест, если Конституция – это не закон, а бумажка, если выборы – это не выборы, а явка на избирательный участок... – такую жизнь надо назвать патологической. А называть ее нормальной – это разделять максимум Родиона Раскольникова: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!» (Федор Достоевский. Преступление и наказание. Часть первая, II).

Четверть века назад сущность советской ритуальности и роль послушных участников осознавались четко и ясно: «Ритуал служил обязательной проверкой лояльности члена общества. Участие в ритуале означало пусть формальное, но тем не менее согласие участвовать в построении коммунизма, т. е. нести свою долю ответственности за происходящее» (М. А. Кронгауз. Бессилие языка в эпоху зрелого социализма. – В кн.: Ритуал в языке и коммуникации: Сборник статей. – М.: Знак; РГГУ, 2011. с. 12. В основе статьи лежит доклад сделанный автором в 1991 году на конференции «Язык и власть. Языки власти»).

Иллюзия «внезаходимости» – это совершенно понятная попытка снять с себя вину за участие в патологических практиках «советского образа жизни». Одобрение «перформативного сдвига», то есть ловкого умения обращать идеологию себе на пользу, – то же самое. Александр Зиновьев описывал эту ловкость с тем презрением, которого она заслуживает. Он различал в советской жизни *номинальную* и *практическую* идеологию: «Первая облечена в лицемерные формы добродетели, вторая предельно цинична. Первая ориентирована на пропаганду и оболванивание людей, вторая – на практическое употребление» (Александр Зиновьев. Коммунизм как реальность. Пара беллум. – М.: АСТ: Астрель, 2012, с. 274).

Советское воспитание долго нас уродовало и сильно изуродовало. Мы, советские поколения, передали нашу политическую уродливость нынешним поколениям, – сегодня мы видим это собственными глазами. Главным пороком был, по моему убеждению, тот, что мы не хотели нести никакой ответственности за действия власти, которую якобы единогласно выбрали и которую якобы единодушно поддерживали. У нас не было сознания неотъемлемых *прав человека*, а значит, и сознания личной ответственности. Бесправие и безответственность – вот реальные результаты советской идеологической обработки.

В *передовом* коммунистическом воспитании проявлялись глубоко *архаические* черты, из которых самыми резкими были две. Первая, под именем *партийного руководства*, по сути соответствовала тем идеям, которые отстаивал герой Льва Толстого: «Он говорил вместе с Михайлычем и народом, выразившим свою мысль в предании о призвании варягов: „Княжите и владейте нами, мы радостно обещаем полную покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя; но не мы судим и решаем“» (Лев Толстой. Анна Каренина. Часть восьмая, XIV). Константин Левин считал такое положение дел великим *правом*, купленным дорогой ценой. Советская реальность именно такой и была. Ее слегка камуфлировали утверждением, что партия выражает интересы народа, что народ *тоже* решает. Но бывало, что не камуфлировали, а говорили прямо: «Сила советского народа – в руководстве партии, в сплоченности вокруг Коммунистической партии. Для нашего народа нет ничего выше и священнее, чем руководство партии, дело партии, дело коммунизма» (Есть такая партия. – М.: Планета. 1974. Страницы не нумерованы, это последние русские слова текста, затем начинается резюме по-английски). То есть не для партии выше всего дело народа (класса, трудящихся), не в народе – сила партии, а наоборот.

Вторая архаическая черта – типичное славянофильское антизападничество. *Загнивающий* капиталистический Запад доживал последние дни, а наша страна, построившая социализм, уверенно шла к светлому коммунистическому будущему. Классовая борьба и *антагонистические противоречия* раздирали Запад, зато у нас «отношения между всеми социальными группами социалистического общества (рабочими, кооперированными крестьянами, интеллигенцией) есть отношения дружественного сотрудничества» (Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983, с. 259). Ровно то же самое писал и Алексей

Хомяков: «Русской земле известно различие состояний, более или менее определенных, и даже сословий, но неизвестны ни вражда между ними, ни ожесточенное посягание одного на права другого, ни оскорбительного пренебрежения одного к другому» (Алексей Хомяков. Всемирная задача России. – М.: Институт русской цивилизации, 2011, с. 405).

Советская идеология не выдерживала ни анализа, ни сличения с реальностью, но идеологическому воспитанию дети подвергались с самого раннего возраста, поэтому последствия были тяжкими. Детскую доверчивую память, детское доверчивое восприятие «забивали» идеологическими штампами. В статье «Язык распавшейся цивилизации» Мариэтта Чудаков, анализируя «Русский ассоциативный словарь», вышедший уже в новом веке (2002), показывает, «как глубоко пустила корни советская порча языка» (Мариэтта Чудакова. Новые работы: 2003—2006. – М.: Время, 2007, с. 333). Ассоциативный словарь составлялся на основе анкетирования студентов, то есть того поколения, которое попало в идеологическую формовку в самом конце советской власти, но на слово «строитель» самой частой реакцией было слово «коммунизма», на слово «активный» – слово «комсомолец»... и так далее в том же духе, увы. Эти словесные штампы были проявлением ментальных штампов, нагруженных переживанием вины, страха и обязательного счастья. Оптимизм и уверенность в завтрашнем дне были идейной обязанностью каждого советского человека – в несомненном противоречии с реальностью. «Привычное для нескольких поколений россиян чувство опасности и тревоги» отмечает Борис Дубин, и каждый из нас по себе знает, что он абсолютно прав (Борис Дубин. Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011, с. 363). В детстве я не любила свою жизнь, но чувствовала так: если все будет *хорошо*, то будет продолжаться все та же тоска и скука – школьная подневольность и очереди в поликлинике; но если будет *плохо*, то начнется война и такой ужас, о котором и подумать страшно.

Один раз в жизни я встретила человека, который пылко вспоминал счастье нашего советского детства. Это было в Российской государственной библиотеке в июле 2015 года. Я услышала слова: «Детство у меня было счастливое, советское...». Говорила женщина лет сорока пяти. Я уже писала эту книгу, и кинулась расспрашивать. Женщину звали Ирина, отвечала она с готовностью, обрадовавшись слушателю. Детство Ирины прошло в рабочем поселке в Талдомском районе Московской области. В школу она пошла в середине семидесятых. Школа была прекрасная, учителя замечательные – умные, внимательные, сердечные. Знания они давали такие глубокие и прочные, что для поступления в московские вузы никому из выпускников не нужны были репетиторы. После уроков тоже была интересная, содержательная жизнь. Художественные, литературные, спортивные кружки. Бассейн! Музыкальная школа! Тут я все-таки переспросила: значит, в рабочем поселке был бассейн и музыкальная школа? Ирина слегка замялась: нет, не в поселке, но можно было ездить. Она вспоминала чудесные учебные передачи советского телевидения: «По третьей программе, помните?». Она рассказала историю (легенду). В начале восьмидесятых годов крупный чин с американского телевидения приехал в Москву. Он пришел в восторг от телепередач для советских школьников и решил сделать такие же для американских. «Они переняли, – вздохнула Ирина, – а мы все загубили. Ничего не осталось». Не то что я ей не верила. Ирина говорила правду, которую взлелеяла в памяти. Но эта правда уж очень расходилась с реальностью тех лет. Поэтому должно было появиться какое-то «но». И оно появилось. Оказывается, у Ирины не сложились отношения с одноклассниками: все десять школьных лет ее травили. За что? «Ну, я же была вся такая неземная, – грустно усмехнулась Ирина, – вся в музыке, литературе. Вот за это...»

Ирина не упомянула о коммунистическом воспитании, хотя несомненно, что учителя, о которых она вспоминала с такой любовью, все как один были воспитателями-пропагандистами. Иной возможности для учителей не существовало. Вся школьная деятельность была направлена на идеологическую обработку учеников. Абсолютно вся, а не только предметы гуманитарного цикла или внеурочные мероприятия. Изучение точных и естественных наук

тоже было нацелено на коммунистическое воспитание. Методические брошюры об этом выходили одна за другой.

«Формирование коммунистического мировоззрения при обучении географии в V—VII классах» – М.: Просвещение, 1965. «Формирование коммунистического мировоззрения у студентов в процессе преподавания курса теоретической механики» – Л.: б.и. 1976. «Коммунистическое воспитание школьников в процессе обучения химии в средней школе» М.: МП СССР, 1977. «Формирование коммунистического мировоззрения в курсах химического и механического профилей» – Казань: КХТИ, 1978. «Коммунистическое воспитание учащихся на уроках математики» – Киев: Радянська школа, 1983. «Формирование коммунистического мировоззрения и активной жизненной позиции учащихся в процессе обучения математике» – Ростов-на-Дону: б.и., 1984. И так далее и тому подобное.

Учителя, которые решительно не хотели быть коммунистическими пропагандистами, в школе не удерживались. Их увольняли или вынуждали уйти. Каждый человек с советским опытом знает такие примеры. Все остальные педагоги обязательно занимались идеологической обработкой детей. Вопрос заключается только в ее мере и характере. Обработка могла быть беспощадной и упорной, а могла сводиться к минимальным ритуалам. Педагоги позднесоветских лет, точно так же, как и дети той поры, избегают вспоминать о коммунистическом воспитании и о своем участии в нем. Мне известны только два исключения.

Лев Айзерман в книге «Испытание доверием. Записки учителя» (М.: Просвещение, 1991) рассказал драматическую историю. В 1980-м году педагоги одного из выпускных классов получили записки с ядовитыми эпиграммами. Анонимный сочинитель хорошо изучил своих наставников и знал, чем обидеть. Учителя были «потрясены» (с. 6) и, собрав весь класс, требовали, чтобы аноним признался: «То, что он сделал – непорядочно, неблагородно. Мужество признания – во многом гарантия нравственности, сегодняшней и завтрашней» (с. 7). Через несколько дней рассказчику призналась, наедине, одна из лучших учениц: «Это сделал я». Учитель спросил: «За что?» (с. 7), хотя мог бы и сам догадаться. Девочка сказала: «Вы все нам лгали, обманывали нас. Вы же видите, что все вокруг происходит совсем не так, как пишут газеты, как говорите вы нам в школе. Скажите, разве вы в классе говорите обо всем, что сами видите, над чем сами думаете?» (с. 7). Словами девочки глава кончается. Педагог не написал, к сожалению, что же он ей ответил. Его книга советских лет – «Уроки нравственного прозрения» (М.: Педагогика, 1983) – включает самый минимум коммунистических реверансов, однако и этот минимум ужасен. Важность морали в нашей жизни обоснована материалами XXVI съезда партии (с. 26). Ценность творчества Льва Толстого – словами генсека, который высказался о Толстом, находясь в Туле. «Хочу обратить внимание на принципиальное значение этих высказываний Л. И. Брежнева...» (с. 70).

Леонид Лопатин в своих откровенных и глубоких воспоминаниях (тираж 350 экземпляров) себя не щадит: «Став учителем истории в 1966 г. и членом КПСС в 1968 г., я сам участвовал в формировании такого образа жизни. Ах, как же на своих уроках я возвеличивал Октябрьскую революцию! Разве не я врал детям о свободном творческом труде при социализме, скрывая от них принудительный труд колхозников, спецпереселенцев, трудармейцев, завербованных, да и просто рабочих, вынужденных трудиться за паек и унижительно низкую зарплату. Не является утешением и то, что делал это искренне. <...> При каждой теме по советской истории выливал своим школьникам, а с 1969 г. студентам мединститута столько вранья и идеологической глупости, что стыд за себя не прошел до сих пор. Если бы по юношескому недомыслию я врал только на уроках!» (Леонид Лопатин. Советское образование и воспитание. Политика и идеология в 55-летних наблюдениях школьника. Студента, учителя. Профессора. Ничего личного. —Кемерово: Издательство КемГУКИ, 2010, с. 14, 15). Увы, не только. Молодой педагог хотел быть откровенным с детьми, и ученики ему доверяли. Поэтому в совхозе на сельхозработках («на картошке»), увидев реальное состояние хозяйства и реальную жизнь

села, дети спросили об этом учителя. А он, сельский уроженец, прекрасно знавший, что они видят типичное положение дел, заговорил про *отдельные* недостатки в *отдельном* совхозе. «Разве не в чем каяться учителям и родителям, внушавшим детям такое извращенное представление о советской действительности?» (с. 131).

В понимании роли родителей я не вполне согласна с Леонидом Лопатиным. Сами родители редко внушали детям извращенные представления о советской жизни, хотя не препятствовали школе обрабатывать детей. Родители внушали детям другое – чувства опасности и тревоги. Некоторые бессознательно, потому что сами жили с этими чувствами, некоторые сознательно, потому что наивная вера в нашу счастливую жизнь была небезопасна для ребенка и ее следовало подправить прививкой опасливой настороженности. Но эти чувства не полагалось проявлять, ибо советские дети были счастливы по определению. По моему опыту, *счастье* было неприятным долгом и тяжким грузом, потому что нашим счастьем нас постоянно попрекали в школе.

Конечно, и учителя, и семья были в очень трудном положении. Учителя лгали, родители молчали, но и те и другие должны были привить детям *«гарантии нравственности – сегодняшней и завтрашней»*.

Дети, тем более маленькие, политикой и политическими фигурами не интересуются вовсе. Исследования постсоветских дошкольников подтверждали это и в девяностые, и в нулевые годы – вот, например, коллективная монография «Из жизни детей людей дошкольного возраста. Дети в изменяющемся мире» (СПб.: Алетейя, 2001). Но советских детей с самых малых лет настойчиво обязывали следить за политикой и *любить*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.